

Иван Аксаков

Madame Лузина



Иван Сергеевич Аксаков

Madame Лузина

«На нынешней неделе праздновалась столетняя годовщина первого представления первой русской комедии, положившей такое достославное основание драматической сатире в России. Можно даже сказать, не отрицая заслуг «Ябеды», что от «Недоросля» до «Горя от ума» («Ревизор» явился позднее) не было сатирического произведения, которое бы по таланту, по критической меткости, а главное – по своему воздействию на общество равнялось с знаменитым произведением Фонвизина...»

Иван Сергеевич Аксаков
Madame Лузина

На нынешней неделе праздновалась столетняя годовщина первого представления первой русской комедии, положившей такое достославное основание драматической сатире в России. Можно даже сказать, не отрицая заслуг «Ябеды», что от «Недоросля» до «Горя от ума» («Ревизор» явился позднее) не было сатирического произведения, которое бы по таланту, по критической меткости, а главное – по своему воздействию на общество равнялось с знаменитым произведением Фонвизина. Но автор «Недоросля» был вместе и автором «Бригадира», комедии также очень замечательной, хотя и стяжавшей несравненно меньший успех. Эта неравномерность в успехе происходила, кажется нам, не только от художественного превосходства «Недоросля», но еще более от различия содержания: сатира «Бригадира» язвила лишь столичное общество, лишь верхний общественный класс с его неуклюжим, аляповатым усвоением внешних форм европейской цивилизации, с его рабскою, косолапою подражательностью иностранцам, так напоминавшею кривлянье обезьян корчащих человека, – с его увеси-

сто-легкомысленным презрением к родному языку и своей родной народности (торчавшей однако же, притом самыми своими непривлекательными сторонами, из-под французских кафтанов и французского ломанного жаргона), – с его поверхностным образованием и преждевременно старческим растлением. Но этим недугом еще далеко не была заражена вся масса русского общества; обличение этой лжи, – ясной, в то время, сознанию еще немногих, избранных умов, – не стояло на очереди, не было злобою тогдашнего исторического дня. Злобою дня, на покаянной исторической очереди обреталась тогда патриархальная заскорузлость помещичьего быта – ленивое, обеспеченное крепостным рабством, само себе довлеющее невежество многочисленного класса деревенских бар, косневших в грубости, уклонявшихся и от просвещения и от службы.

Но в сознании автора «Недоросля» и «Бригадира» обе комедии, очевидно, не разделялись, а восполняли одна другую: мерзость самодовольного невежества противопоставлялась мерзости самодовольной лжеобразован-

ности; здесь – грубый разврат помещичьего, барского, нетронутого цивилизацией быта, сидевшего, так сказать, на родном корню, – там: едва ли еще не более безобразный разврат, да и не одних нравов, но самой мысли, там, то есть в верхнем, более или менее правящем слое общества, все сильнее и сильнее отрывавшемся, не только по внешнему строю жизни, но даже в сознании и в чувстве, от родной почвы, от своей духовной национальной основы, от самой сущности народной. Нужды нет, что «Бригадир» был написан ранее «Недоросля»; обе комедии представляют в целом общую картину того исторического образовательного у нас процесса, в силу которого Простакова перерождалась в Советницу, Скотинин и сам Митрофанушка в бригадирского сынка, – одного из тех, которыми кишели вельможеские гостиные того времени.

Типы «Недоросля» могут считаться теперь устаревшими. Скотининское невежество не представляется уже общественной язвой нашего времени: русское общество стараниями правительства, – целым рядом прельстительных и принудительных мер, – прогнано было,

можно сказать, сквозь «просвещение» как сквозь строй, и такой характер сохраняет еще доднесь система нашего общественного образования. Но типы «Бригадира» живы еще и до сих пор. Они не устарели в своей существенной основе; они или видоизменились, приняли более утонченную, даже духовную форму, или же просто перестали колоть нам глаза вследствие приобретенного ими права гражданства: мы так привыкли к ним, что они нас уже и не оскорбляют. Нет, они не устарели! В двадцатых годах текущего столетия, то есть через полвека после появления в свет комедий Фонвизина, Грибоедов хлестнул бичом своей гениальной сатиры опять то же самое, только несколько облагорожившееся направление, которое в такой грубо комической форме изображено в «Бригадире». Хоть у китайцев бы нам несколько занять

Премудрого у них незнанья иноземцев!

Воскреснем ли когда от чужевластья мод?

*Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя б по языку нас не считал за*

воскликнул Чацкий к великому огорчению г. профессора Веселовского, который всеми силами старается очистить Грибоедова от подозрения в славянофильской ереси и сопричислить его к «западникам», а la Чаадаев! Но Бог с ним, г. Веселовским: он, как известно, понимает историю русской литературы только как историю подражания иностранным литературам и приходит в восторг от каждого опознанного им заимствования, — тогда как главный интерес истории нашей словесности именно в усилиях русского духа (в лице его гениальнейших представителей) выбиться из пут ложного, обезнародившего нас просвещения и проявить свою народную самостоятельность, вне которой немислимо для нас ничто общечеловеческое.

В тридцатых годах Пушкин пытался и отказался от мысли написать роман из русского великосветского быта, так как для точного его воспроизведения пришлось бы чуть не весь роман писать по-французски. Прошло еще полвека. И что же? Если Фонвизин, лет за сто тому назад, негодовал в своих письмах из

Парижа: как смеют французы подносить русскому, в виде наивысшего комплимента, такую фразу: «Да вы на русского вовсе не похожи!» (*mais, monsieur, vous n'avez pas l'air russe du tout*), – то мы решаемся смело утверждать, что из русских путешественников за границей по крайней мере две трети, а из русских дипломатов девять десятых в наши дни за такое приветствие негодовать не станут, напротив, почтут его для себя совершенно лестным.

Очевидно, что направление, осмеянное Фонвизиним и Грибоедовым, изменилось теперь только по внешности, но зато проникло вовнутрь, от наружной формы в сознание, спустилось вглубь, почти на самое дно общества. Резкость противоречий сгладилась; чужое платье сидит уже не неуклюже, – по крайней мере неуклюжесть эта нам незаметна, и болезненной неловкости в чужом костюме уже не чувствуется. Можно быть теперь иностранцем, даже не зная ни одного иностранного языка или зная их плохо, выражая иностранные понятия языком русским, или же иностранные слова переписывая русскими буквами. Можно даже видеть в этом

акт патриотизма, подобно тому, как изобретатель «русского шампанского» наверное гордится своим изобретением как патриотическим делом. К счастью для нас, это направление, спускаясь на более низкие ступени общественной лестницы, продолжает еще и теперь проявляться там в грубо комическом, карикатурном образе. Говорим «к счастью», потому что карикатура, раздражая глаз, помогает ему усмотреть истину, которую бы он иначе, пожалуй, и не заметил, – облегчает работу сознания... И разве не карикатура на всю нашу современность с ее «интеллигенцией» и «высоким уровнем культуры» хоть бы эта большая часть вывесок, украшающих нашу народную столицу? Если прославленные «русские портные из Парижа и Лондона», Синегубовы да Пахомовы, удалились в провинцию, то Москва продолжает щеголять вывесками не менее выразительными и прежде всего – таким множеством французских, что можно предположить: не целые ли две трети московского населения – иностранцы? Чуть не на каждом шагу красуются все эти Madame Olga, Madame Parascovie, а на одной из цен-

тральных московских улиц нам почти ежедневно приходится любоваться вывескою аршинными буквами: «Мадам Лузина». Есть еще другая, недавно прочитанная нами: «Мадам Аграфена». Это не только смешно; если кто думает, что это лишь пустяк, не заслуживающий упоминания, то, право, он ошибается...

«Мадам Лузина», – это ведь целый исторический продукт. Проезжая мимо нее, мы невольно каждый раз восстанавливаем в своем уме всю ее долгую, почти двухсотлетнюю генеалогию – от княгинь, высеченных кнутом при Петре в Правительствующем Сенате за отказ участвовать в «ассамблеях», от бритья бород, совершаемого самою августейшею рукою (из любви к искусству), от дубин, коими учили бояр «комплиментам», пока не выдубили из них столь известных екатерининских «петиметров»... В том-то и дело, что и «русское шампанское», и эта «мадам Лузина» с «мадам Аграфеной» – все это только наглядные, хотя бы и в карикатурной форме, еще живучие эмблемы нашего исторического просветительного процесса со времен Петра, в

главных его чертах, и нашего современного духовного состояния с его наукой о «последних словах» без знания первых, с тем, одним словом, его умственным сумбуром, которым болеет русское общество от верхних своих ярусов до нижних и который так метко характеризует Грибоедовскими словами: «смесь французского с нижегородским». Нечего смеяться над несчастной портнихой, пожелавшей облагородить, должно быть, согласно с общественным вкусом, свое вполне русское прозвание приставкой французского слова «мадам». Разве «русская столица Санкт-Петербург» (по орфографии Петра) или хоть бы «Санкт-Петербург» не та же «мадам Лузина»? Чем же лучше ее или «мадам Аграфены» – русский земский чин «кирхшпильсфохт», введенный Преобразователем? Мы только прислушались, а ведь все эти наши чины, не только составленные из иностранных слов, как «коллежский ассессор», но и переведенные с немецкого на русский язык, хотя и оставшиеся непонятными, например: «надворный советник», «действительный тайный» – ни тайно, ни явно не советующий «со-

ветник», – чем они умнее и приличнее вывески: «мадам Пузина»? А этот «шеф столь достойной нации», как смела назвать царя русского народа наша цивилизованная канцелярия в изготовленном для императора Александра I (и к сожалению им подписанном) рескрипте городу Санкт-Петербургу?

Но дело не во внешней только, комической стороне слов и выражений. Она важна лишь как знамение внутреннего склада мысли и даже чувств, – как олицетворение претензии, то есть усилия казаться, а не быть, как щегольство своим отчуждением от народности или своею заемною цивилизациею. Это именно то, что заставило одного умного иностранца назвать наше отечество царством фасадов. Но ведь все претензия да претензия, все фасад да фасад – это поистине ужасно! И еще ужасно то, что «претензия» обратилась как бы в насущное, естественное и законное притязание, а «фасад» вошел в плоть и кровь, стал даже, как фасад, внутренним содержанием русских, опорожненных от народной стихии душ! Фасад, или, как выражаются наши плотники, «на под-лицо», со-

ставляет теперь главную задачу нашей общественной жизни, главную потребность, – потребность лживую, но тем не менее действительную и жгучую. Фасадом думаем мы удовлетворить все, не вполне ясные нашему сознанию, запросы болезненно рвущегося к простору нашего духа; в фасаде думаем найти и спасение от разъедающих нас зол.

Итак, не быть самим собою, а быть чем-то иным, в сущности только казаться, и в этом смысле направлять и искажать наше общественное развитие, пренебрегая правильным органическим процессом – вот о чем комически гласят все эти вывески, но что очень трагически сказывается на судьбах русского общества. Разве не фасад знания – все эти «последние слова» науки? Разве не фасадное направление воспитывает в молодежи вся наша педагогика средних и высших учебных заведений, вытравливая в юных душах всякое положительное отношение к своей народности, всякую национальную духовную индивидуальность, всякий нерв самобытного национального творчества и насаждая в них, напротив, вместе с иноземными идеалами, от-

рицательное отношение и к своему народу, и к своей истории?.. Разве не то же почти видим мы и до сих пор в направлении нашей промышленности и даже нашего государственного строения? Все идет и строится большею частью как-то мимо жизни, мимо действительных нужд и существенных интересов нашего отечества. Доказательства тому во множестве найдем даже и на нашей Всероссийской выставке, где нельзя не поразиться главными, господствующими, хотя и не без исключений, характерными чертами, напоминающими «мадам Лузину», но лишь в величавом размере. Эти черты: удовлетворение потребностей высших «цивилизованных» классов, а не народных масс, – дороговизна, а не дешевизна, подражание иностранному образцу, доведенное до совершенства, и почти отсутствие оригинальности: вот куда ударился самолюбивый патриотизм! Вы найдете русского изделия шарабаны, ландо, новейшего английского фасона экипажи и не найдете усовершенствованной телеги: народу предоставляется довольствоваться телегой, в которой езжали чуть не в допотопные времена;

найдете дорогие шерстяные ткани, тогда как народ продолжает ходить в плохой самодельной дерюге. В столицах телеграф заменяется телефоном, а в глубине России письмо по почте во многих местах идет месяцы и больше. Города, и притом далеко не все, соединяются между собою железными путями, а подгородная и попутная жизнь гложет по недостатку средств сообщения, и дороги остаются такими же непроездными и мучительными, какими были еще при монгольском иге. Десятки миллионов жертвуются на великолепие нашей порубежной столицы – Санкт-Петербурга, и, словно заколдованный, не пролагается рельсовый путь до Сибири!

У нас завелась Академия наук, – пышный фасад научной деятельности – в то время, как ни одной почти народной, элементарной школы не существовало, – Академия, о которой Ломоносов восклицал: «Диво, что к иностранным ученым и студентов из-за моря же не выписывают», – Академия, о которой чрез 150 лет с лишком после ее основания, только на днях решен вопрос: «русская» ли она, и установлено официально, вместе с титулом,

это ее качество! И разве, одновременно с модными толками о «народном просвещении», не закрывалась у нас та главная народная школа, благодаря которой сберег в себе наш народ христианскую душу сквозь тысячелетний гнет страстей и мук, – разве не было заперто до трех тысяч храмов, если не более, вместе с уничтожением приходов? Не то ли самое видится и во внешней политике, и во всех наших дипломатических отношениях, в которых мы большею частью только заискиваем у иностранцев хорошей отметки или балла за успехи в цивилизации и готовы, из-за похвального аттестата, проглядеть свои существенные интересы? Боязнь чужого мнения, мнения «культурных» соседей, разве не заставляет русскую дипломатию лезть из кожи, чтобы прослыть и у них «культурною», а иностранцы, зная таковую нашу слабость, зная, что мы недалеко ушли от русской портнихи, которая тает от удовольствия, если назвать ее мадамой, очаровывают нас дешевою лестью снисходительного обращения и зазывают нас, нам же во вред, на свои европейские концерты!

Беда в том, что все это вместе воспитывает, вкореняет в нас глубокое невежество своей страны и народа. Обритый насильно, чуть не на дыбе, – под кнутом выучившийся «комплиментам», дубиною выветренный боярин, под страхом казни воспринявший в себя, как в сосуд, чуждое содержание, сжившийся, сплотившийся наконец, долгой работой времени, с этим содержанием, прежде только перерядившийся, а потом и переродившийся русский, – став напоследок бюрократом, начал судить, рядить, благоустраивать или муштровать русскую землю. Не из предательства, не из злонамеренности, а с самыми добрыми пожеланиями эти «русские портные из Парижа», эти московские мадамы Пузины в мундирах заставляли пушками сажать картофель там, где пшеницу и девать некуда, сеять кукурузу там, где прозябает лишь морошка, строить дома и церкви по иностранным фасадам, сочинять города, потому-де что так везде в цивилизованной Европе, – города, которые и теперь умоляют о разжаловании их в деревни, – сочинять сословия, сочинять учреждения – мертворожденные и мертвящие... И не

то ли самое продолжается и теперь, под громкий хор наших «либералов», так кстати восстающих против всякой национальной самобытности и упрочивающих тем самым бытие во власти портных из Парижа и мадам Лузиных? А портные из Парижа, бывало, по внушению последней парижской моды, возьмут да и сообразят, что и в России следует бояться боязнью Наполеона III, похитителя престола, который только о том и заботился, как бы оградить свой династический интерес от посягательств враждебного ему общества, и нарочито придумал для сего систему цензурных предостережений. А мадамы Пузины и Аграфены еще недавно повторяли – и очень серьезно – заграничную, до чудовищности нелепую басню, будто в России совсем-таки организована аграрная революция с двумя генералами во главе – Скобелевым и Черняевым, – повторяли и советовали принять за благовременно «нужные меры», к счастью, отвергнутые высшею мудростью. В крови сидит мадам Пузина или Аграфена почти у каждого нашего бюрократа!

Она же сидит и в каждом нашем «консер-

ваторе», «либерале», также и в нигилистах всех наименований. Та же претензия, та же подделка, даже явная и чистосердечная, та же искренняя потребность «фасада» везде и во всем, и в самом этом требовании «конституции». Будь только конституция «на под-лицо» и все пойдет ладно! Не только весь наш мнимый либерализм смахивает на мнимое или «русское шампанское», но и все прочие наши политические доктрины, все эти иностранные измы на русской почве, что же они иное, как не то же плохое и неумное пойло, откровенно подделанное на манер природного французского напитка? Разница в том, что «русское шампанское» более или менее, думаем мы, безвредно, а подделка спирта, которым опьяняется наша молодежь, губительна, смертоносна. Наши «сепаратисты» или «федералисты», все эти «национало-демократы», «социало-демократы», «демократо-революционеры» – не то же ли они самое, что вышеупомянутые вывески русских портних с иностранной приставкой? Правда, комизм вывески получает здесь уже трагическую подкладку: наш террорист, например, это как бы ма-

дам Аграфена, вооружившаяся, за неимением иных высших разумных аргументов, динамитом, револьвером и ядом, это как бы мадам Пузина, способная умереть и убить за фасад или, вернее, за иностранный фасон изготовляемых ею шемизеток, воланов, лифов и басков и прочих принадлежностей французской моды.

Таков крайний, серьезный до трагедии, логически последовательный вывод из того подражательного направления, которое дано русскому духу со времен Петра и осмеяно Фонвизиным и Грибоедовым в их драматических сатирах. Но есть другая сторона вопроса, которая заслуживает тщательного изучения: именно самый тот процесс в его постепенности, который русского свежего человека может привести на край гибели. Если до этого края доходят только немногие, то сколько же их, — целые массы! — оставляются на полдороге, более или менее нравственно изуродованные!

Правильным развитие народа может назваться только тогда, когда то, что лежит в народе как стихийное начало, как семя, как

несознаваемая, непосредственная сила, пускает рост, проявляет в постепенном образовании и усложнении все свои лучшие свойства, достигает полноты своего выражения, одним словом, когда народ восходит из силы в силу, из инстинктивной жизни масс в сознательную жизнь единиц, не разрывая органического единства, но просветляя и укрепляя его высшим развитием народного духа. Так называемое общество, или совокупность лиц, образующаяся поверх народа, – это тот же народ, но только на степени самосознания, выражающегося в личном сознании единиц, из народа вышедших. Таково отношение образованной среды к народу во многих просвещенных краях. У нас же совершенно наоборот. Двадцать лет тому назад ставила газета «День», да и теперь опять можно поставить вопрос: отчего у нашего народа, который, по признанию даже иностранцев, смысленнее, сметливее, умнее простонародья всех других стран, – отчего у нашего народа общество такое умственно слабое и нравственно дряблое? Отчего в России вечно жалуются на безлюдье, на недостаток умных и способных деятелей?..

Когда-то при остроумной повести покойного графа Сологуба «Тарантас» была приложена картинка, изображающая постепенное восхождение мужика по общественной иерархической лестнице, – другими словами: перерождение и вырождение мужика. Подле мужика с умным, открытым, серьезным и важным лицом – дворовый, чином выше, но духом ниже; затем, помнится, бурмистр, вышедший на волю, затем приказный, чиновник, и т. д. Одним словом, здесь цивилизация выражается целым рядом падений. Не видим ли мы это и теперь на каждом шагу, встречая крестьянина, ну хоть бы подрядчика, трудом и сметкою составившего себе состояние, человека ясного, здравого смысла, твердой воли, – и рядом с ним его сынка с пенсне, хилого, спешащего улизнуть от тятеньки в балет или разъезжающего непременно по-английски в шорах? Отец умен – сын жидок смыслом, отец – кремень, сын – мямля; отец – русский в полном смысле слова, – сын своего рода мадам Пузина. Отец – тип порядочности, *comme il faut*, ибо чужд претензий и совершенно прост: вообще нашего хорошего крестьянина

никак нельзя назвать человеком дурного тона. Сын – олицетворенная претензия, то что называется *mauvais genre*. Крестьянина-отца не легко собьешь с толку, он не ветрен, в нем лежит тяжелый груз преданий и бытового обычая, с которым ему приходится считаться. Сынок опорожнен воспитанием от этого груза, пуст и в эту пустоту можно влить сколько угодно и какой угодно шипучей доктрины, всыпать и гороху, и пороху...

Не этот ли самый процесс воспитания, иначе – перерождения и вырождения, прodelывается в России не над отдельным мужиком, но над целым народом и в течение почти двух веков со времени реформы Петра Великого? Не этому ли процессу обязаны мы современным умственным и нравственным состоянием русского общества, с его путаницей, – общества, в широком смысле этого слова, от первых ступеней до нижних, от правящих сфер включительно до мелочных лавочников? Не здесь ли надо искать разгадку всех наших недугов и зол, начиная от бюрократии и кончая революционным терроризмом, – а ключ этой разгадки не указывается ли нам

уже давно в бессмертных творениях наших сатириков, – не торчит ли он на наших глазах всюду, и в самых этих забавных вывесках, нами столько раз помянутых?..

Нам возразят: тут не цивилизация, не просвещение вообще виновато, а ложное просвещение... Да, именно в этом все и дело. Вся беда от ложного просвещения, каковым мы просвещались почти два столетия, просвещаемся и теперь. Нужно только именно признать, что оно было и есть ложно, то есть пошло лживым путем с самого начала, денационализируя русского человека, растлевая, охладивая его. (Мы разумеем здесь, конечно, не все русское общество, не тех, которые тяжким трудом или талантом высвободились из плена, а большинство просвещаемых). А вот это-то признания наши западники и не хотят сделать и еще сильнее ратуют за следование путем подражаний и фасадов, отрицают самый принцип духовной самобытности. Мудрено ли однако, что народ, видя себе в перспективе тот последовательный ряд перерождений, который мы выше охарактеризовали во образе русской мадамы, казенного чинов-

ника, бюрократа, социало-демократа, анархиста и террориста, отвращается инстинктивно от нашего просвещения? Мудрено ли, что у умнейшего народа в мире – общество самое пустейшее, самое безнародное, наука – почти бесплодная, и такая страшная скудость духа, скудость творчества в жизни?